



Иван Алексеевич Бунин

Тень птицы
(Тень птицы #1)

Содержание

#1	0005
Комментарии	0046

Иван Алексеевич Бунин
1. ТЕНЬ ПТИЦЫ
(Из цикла «Тень птицы»)

Второй день в пустынном Черном море. Начало апреля, с утра свежо и облачно. Воздух прозрачен, краски несколько дики.

Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный малахитовый след за кормою. Низкие, плоские берега Новороссии скрылись вчера еще в полдень. Перед вечером скрылись и чайки...

Quocumque adspicias nihil est nisi pontus et aer...[1]

Сизо-алый закат был холоден и мутен. Огонек, еще при свете заката вспыхнувший на верхушке мачты, был печален, как лампада над могилой. Неприятный ветер, крепко дувший по правому борту, рано согнал всех с палуб, и тяжелая черная труба хрипела, распуская по ветру космы дыма. А ночь с мутно-бледной луной и неясными тенями, едва означавшимися от вант и дыма, была еще холоднее...

Шумно и тревожно было вчера утром. С тревожным и радостным чувством спустился я с одесской горы в этот постоянно волнуя-

ций меня мир порта — в этот усеянный мачтами город агентств, контор, складов, рельсовых путей, каменного угля, товаров. По жидкой весенней грязи среди сброда босяков и грузчиков-кавказцев с их чалмами из башлыков и орлиными глазами, среди извозчиков, волов, влачащих нагруженные телеги, и жалобно кричащих паровозов, пробрался я к черной громаде нашего переполненного людьми и грузом парохода, вымпелá которого, в знак скорого выхода в море, уже трепетали в жидком бледно-голубом небе. И, как всегда, бесконечно долгими казались часы последних торопливых работ, топот ног по сходням, грохот лебедек, пронсящих над головами огромные клады, и яростная команда капитанских помощников. Но затихли лебедки, сошли, как серые лошади, рослые жандармы на сорную пристань — и, с грохотом сдвинув с себя сходни, пароход сразу порвал всякую связь с землею. Все ладно заняло на нем свое определенное место — в наступившей тишине, под стеклянное треньканье телеграфа, начался медленный выход в море. Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и

выбивая из-под себя клубы кипени, чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях. С берега, из затихшей черной толпы, и с лодок машут белыми платками. Берег все отходит, уменьшается. По правому борту уже тянется каменная лента мола. Неожиданно выглянуло солнце — и сзади, за трубами и мачтами, резче обозначился город, а впереди, в зеркальных бликах от зеленой качающейся воды, засияла белая маячная башня. Потом и маяк прошел мимо, озарив своим отблеском, бугшприт медленно и неуклонно стал заворачивать к югу, огромной дугой выгнулись широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним, солнечный свет и ветер переменяли по бортам места...

Сутки прошли незаметно. Просыпаешься под топот матросов, моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь провел, предавшись воле Божьей, возле тонкой железной стенки, за которой всю ночь шумно переливались волны. Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет прохладной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что Россия

уже за триста миль от тебя... В пути со мною Тезкират Саади, «усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского, да будет священна память его!» И вот, в этой свежести утра, весны и моря, я сижу на юте и читаю:

— «Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги...

— Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество...

— И так протекли дни Саади, пока не воспарил феникс чистого духа шейха на небо — в пятницу в месяце Шеввале, когда погрузился он, как водолаз, в пучину милосердия Божия...

— Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей!

— Много странствовал я в дальних краях земли, — читаю я дальше.

— Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой нивы.

— Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви

узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома!

— Ибо на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь: друг, прошлогодний календарь не годится для нового года!»

В круглых сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце, — тогда кажется, что кто-то радостно и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом, теплом свете...

— «Да, да! Да, да!» — твердит машина, мимо которой твердо прохожу я по чистой, крепкой палубе, убегающей и повышающейся к носу. Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, слышу странный в море запах птичника, останавливаюсь у решетки борта: густым сине-лиловым маслом светит сквозь решетку вода, бегущая навстречу, и с каждым часом, делается все более тяжелой, непохожей на жидкую, желтоватую воду возле берегов Новороссии... Дальше трап, перекинутый над шахтой трюма от

спардека к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков, по-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном... Потом я стою на носу и смотрю то на острую железную грудь, грубо режущую воду, то на лежащую мачту бугшприта, медленно, но упорно лезущую в голубой склон неба. Вода стекловидными валами разваливается на стороны и бежит назад широкими снежными грядами; глубоко внизу краснеет подводная часть носа, — и вдруг из-под него стрелой вырывается острокрылая туша дельфина, за ней другая... и долго-долго мелькают в воде их летящие вперегонки спины. Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья. Через несколько часов я опять увижу святую Софию[2]. Через несколько дней я буду в Греции. Потом на Ниле, близ Сфинкса... И пойду к Баальбеку, к руинам капища, «воздвигнутого самим Каином в гордости и безумии»...

II

Перед вечером над спардеком появился белый китель грузного старика-командира, против солнца блеснули круглые глаза бинокля;

уже открываются на горизонте, в золотистом предвечернем свете, дымчатые силуэты Малоазийских и Балканских предгорий. Хохол, едущий на Афон, старик в огромных сапогах, в коротком сером казакине и с очень маленькой головою, вышел на трап над трюмом и крестится, кланяясь им. По трапу бегут на бак босые, с подвернутыми штанами, матросы. Жадно смотрю вперед — и, наконец, различаю, что предгория, расступаясь, медленно открывают устье Босфора.

Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и Европы.

Вот поднялись справа и слева белые маяки — и потянуло теплом берега и знакомым ароматом каких-то турецких цветов, — прелестным сладковатым ароматом, похожим на аромат сухой трухи в дуплистом дереве.

Затихая, замедляя ход, в блеске отражений от зеркальной воды на красноватых скалах, бесшумно входим в Коваки.

Первые турецкие сады, первые черепичные крыши, первый минарет и первый кипа-

рис...

— Отдай! — ясно слышится в тишине, наступившей на пароходе.

И с грохотом летит вниз стопудовый якорь...

Когда-то я купил в этой стране руин и кладбищ, еще до сих пор именуемой на языке старой Турции «Вратами счастья», несколько лубочных картин. На одной был турецкий богатырь в желтом тюрбане, бьющийся с кентавром Полканом возле ярко-зеленого дуба. На другой — святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков. На третьей — караван верблюдов, нагруженный гробами.

«Возвести народам о путешествии к дому святому, дабы приходили они туда из дальних стран пешком и на быстрых верблюдах», — были начертаны над гробами слова Корана.

Да, они были когда-то, эти святые города. Были благочестивые старцы, отказывавшие по смерти своей все имущество свое на нищих, калек и стамбульских собак, завещавшие доставить гроб свой через пустыню в Мекку и

восклицавшие перед смертью, подобно Абд-эль-Кадеру, молившемуся в ограде Меккского храма:

— Господи, воскреси меня в день общего восстания слепым, дабы не стыдился я пред лицом праведных!

Были шитые золотом одежды, кривые ятаганы бесценной стали, тюрбаны из багдадских шалей... Но давно уже —

*Паук заткал паутиной царские
входы,
И ночная сова кричит на башне
Афразиаба...*

Через полчаса пароход снова левиафаном потянулся по извивам Босфора и пошли кругом зеленые холмистые побережья в цветущих садах и могильных кипарисовых рощах, в парках, мраморных дворцах и виллах, в развалинах крепостей и деревянных турецких домишках, тесными уступами нагроможденных среди развалин и зелени... Ветхость, запустение — как странны эти слова для вступающего в Турцию по Босфору! Ветхость — и

чудовищные руины Румели-Гисар, ее зубчатых твердынь и допотопной башни, глядящей из Европы в Азию, на красноватые развалины Анатоли-Гисар, от которой когда-то наводил мосты в Европу сам Дарий. Запустение — и роскошь султанских вилл, пороги которых купаются в зелено-голубой воде пролива, эти сплошные сады и селенья, каики из золотой лакированной ясени, устланные бархатными коврами, на которых полулежат щеголи-греки в фесках, турецкие офицеры с меланхолически-прекрасными девичьими глазами или гаремы, закутанные в радужные брусские газы...

Свежеет, и горы и холмы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны. Босфор вьется, холмы впереди смыкаются — кажется, что плывешь по зеркально-опаловым озерам. Но вот эти холмы расступились еще раз, — и медленно принимает нас в свою флотилию великий город. Налево, на холмистых побережьях Малоазийских гор, пестрят в сплошных садах несметные кровли и окна Скутари. Направо, в Европе, громоздится по высокой горе тесная Галата с возвышающейся-

ся над ней круглой громадой генуэзской башни Христа. А впереди, на закате, единственный в мире силуэт Стамбула, над которым копы минаретов и полусферы на султанских мечетях... При заходящем солнце, в тесноте судов, бригантин, барок и лодок, при стоголосых криках фесок, тюрбанов и шляп, качающихся на зеленой сорной воде вокруг наших высоких бортов, снова кидаем якорь. Ревут вокруг трубы отходящих пароходов, в терцию кричат колесные пакеботы, гудит от топота копыт деревянный мост Султан-Валидэ на Золотом Роге, хлопают бичи, раздаются крики водоносов в толпе, кипящей на набережной Галаты... Оттуда, из товарных складов, возбуждающе пахнет ванилью и рогожами колониальных товаров; с пароходов смолой, кокосом и зерновым хлебом, сыплющимся в трюмы, от воды, взбудораженной винтами и веслами — огуречной свежестью... Солнце meantime скрывается за Стамбулом — и багряным глянцем загораются стекла в Скутари, мрачно краснеет кипарисовый лес его Великого кладбища, в фиолетовые тоны переходит сизый дымный воздух над рейдом, и возносятся в зе-

ленеющее небо печальные, медленно возрастающие и замирающие голоса муэззинов...

В старых святых городах Ислама для этих вечерних славословий еще до сих пор предпочитают глашатаи-слепые: да не смущает их земная прелесть наступающей ночи! А те, которых Творец не лишил счастья зрения, закрывают в час изана глаза... Закрывают ли глашатаи константинопольские? Голоса их все же звучат великой печалью старины и пустыни. И я вспоминаю пыль и ветхость бревчатого моста Валидэ, черные деревянные сараи возле него... Вспоминаю сгнившие в труху и почерневшие лачуги Стамбула, его развалины, тихие кофейни и кладбища... Потом гляжу на приземистый купол Софии, в котором есть что-то непередаваемо-древнее, как в куполе синагоги... Вижу, среди запущенного серальского сада, на берегу стамбульского мыса, остатки древних стен Византии и дворца Константина...

— Возвышается София над городом, как корабль на якоре! — говорили когда-то.

Теперь она осела, затерялась среди новых мечетей. Издалека она кажется даже неболь-

шою. Не велик и дворец. Он из серого камня, прост, груб, как крепостная тюрьма, крыша на нем без выступа, окошечки узкие, высоко пробитые... И как чужд он всему — он и София — даже здесь, в старом Стамбуле!

Солнце закатилось, на турецких часах двенадцать — и меня постигает участь, подобная участи турецких женщин: женщинам нельзя после заката выходить из дому, путешественникам — вступать в город. Но, стоя возле борта и глядя вниз, на лодку афонских монахов, высматривающих, нет ли паломников, которым они дают приют на своих подворьях в Галате, я вдруг замечаю среди них знакомого, проводника-грека Герасима, и радостно кричу ему по-русски, по-гречески и по-арабски:

— Герасиме! Добрый вечер! Калиспера! Меса бель хайр!

Герасим поднимает кверху очки, ищет меня в толпе и не спеша — ему уже за сорок — улучает среди качки удобный момент, чтобы ухватиться за перила трапа.

Проводник мне не нужен, но не проберешься один после семи часов в город. И Герасим немедленно вступает в свои обязанности.

Бережно несет он под мышкой тяжелый черный зонт, с которым никогда не разлучается, бережно снимает черную шляпу и вытирает ситцевым платком свою большую коротко стриженную, серебристо-сизую голову... Жарко под черной шляпой! Но Герасим является на пароход всегда в шляпе, в бумажных отложенных воротничках и ветхом черном галстуке в виде летучей мыши...

III

Возле какой-нибудь маленькой, полуразвалившейся мечети в Скутари, — в этом старинном хане всех караванов Азии, — на каком-нибудь пыльном базаре, окруженном кофейнями, из которых несет чадом жаровен, облитых кипящим бараньим салом, и пестреют халаты толстых хозяев в больших тюрбанах, не редкость видеть грязно-грифельную грудку верблюда и погонщика в еще большем тюрбане и овчинной куртке. На главной скутарийской улице есть кофейни почище, где так сладко мечтать за чашечкой кофе на длинных диванах в пестром ситце, тихо поглаживая спину кошки и опустив одну ногу в туфле, на пол, а другую, в чулке, поставив на

сиденье. В переулках Скутари, среди пекарен, шорных мастерских и лавочек, заваленных медными болванами для глажения фесок, среди облезлых собак, скитающихся по пыли и ослиному помету, в жаркие и нежные дни ранней приморской весны цветут розовыми восковыми свечечками темно-зеленые платаны, из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево...

— Селям! — ласково и сдержанно говорят сидящие под деревьями возле кофеен крупные старики в белых и зеленых чалмах, в меховых безрукавках и халатах, отороченных мехом. — Селям! — говорят они подходящим, легко и красиво касаясь груди и лба, и опять замолкают, отдаваясь дыму нергиле и спокойному созерцанию собак, туристов, ковыляющих женщин, закутанных в розовые и черные фередже, и медленно, важно качающихся на ходу горбунов-верблюдов.

И мне никогда не забыть сладкой, деревенской тишины Скутари, его стен, кладбищ, густых садов, запутанных переулков, где двух-

этажные деревянные домики выступают над пешеходными тропинками серыми решетчатыми окнами. Сколько в этой сплошной садовой глуши, называемой Скутари, старых мраморных фонтанов, в хрустальной воде которых моют загорелые ноги странники, благословящие именем Бога и эту воду, и легкую весеннюю тень развесистого дерева над фонтаном, и дремотное жужжание пчел на цветущих абрикосах! Сколько там, в этой глуши, мечетей, на куполах которых растет трава, а внутри воркуют голуби! Сколько кладбищ, затерявшихся между садами, мечетями и стенами, сколько кипарисов с голыми стволами телесного цвета и могильных белых столбиков в чалмах и золотых надписях, где так мирно, ласково и с такой трогательной верой говорится о весенних радостях жизни, о холодных ветрах рока, о соловьях и розах в стране Блаженной!

Не то Галата. Недаром Галату называют попоймой ямой Европы, сравнивают с Вавилоном, Содомом.

Среди несметных каиков, стоящих возле потемневших от воды и времени деревянных

свай, я выхожу вслед за Герасимом на Галатскую набережную, отдаю паспорт турецкому чиновнику, сидящему в сарае таможи, и вступаю в Галату в тот час, когда замирают призывы муэззинов, день по закону Ислама кончается и лавки должны запирааться.

Но какое дело до изана Галате!

По пыльной и ухабистой набережной, заставленной с одной стороны железными бочками гигантов с разноцветными знаками на трубах, а с другой сплошными кофейнями, шумными и уже ярко освещенными, непрерывно текут навстречу друг другу потоки разноязычного народа. Зеленоватое небо еще светло над темным и четким восточным силуэтом Стамбула, над сиренево-стальной водой и над шестами мачт в Золотом Роге. Но над набережной и над рейдом уже висит опускающийся книзу дым, пыль и сумрак. Между носами и кормами пароходов я вижу темную Скутарийскую гору, засыпанную роями огненно-золотых пчел. Тысячи самоцветных камней — крупных изумрудов, брильянтов и рубинов — рассеяны по кораблям темнеющего рейда. Бледные топовые огни, как

лампадки, высоко висят на всех мачтах возле набережной. Но это уже огни ночного отдыха. Совсем другими огнями горят раскрытые настежь окна и двери в галатских домах, в кофейнях, в табачных и фруктовых лавочках, в парикмахерских. Сколько тут этих огней, сколько народа, играющего в кости, в шашки, пьющего виски, мастику, кофе и воду и занявшего своими табуретами, кальянами и столиками половину набережной! От тесноты, от запаха цветов, пыли, сигар и жаровен, на которых уличные повара подшкваривают кофейные зерна, кебаб и лепешки, воздух зноен и душен. Из вторых этажей домов, из освещенных окон несутся звуки граммофонов, дешевых пианино. В толпе, текущей по набережной, раздаются бешено-сиплые басы водноносов, звонкие альты чистильщиков сапог и продавцов газет, сладкие тенора греческих кондитеров, хлопают бичами худые черномазые извозчики в фесках и пыльных пиджаках. И по всем лицам и разноцветным одеждам то и дело легкими гигантскими взмахами проходят светлые столпы прожекторов: один за другим бегут шумные колесные пакеботы,

переполненные народом, с загородных гуляний...

IV

Ночь я провожу в одном из афонских подворий, близ набережной Галаты.

Поздним вечером покидаю я набережную и вхожу в узкие проходы между высокими домами.

Окна верхних этажей еще светят, но лавки и склады нижних давно заперты, и в проходах мрак: только бродят кое-где, низко над мостовую, фонарики нищих, выбирающих из уличного сора корки хлеба, окурки, жестянки, бутылки из-под оливкового масла. Поминутно натыкаюсь на спящих собак, на сторожей, звонко бьющих на ходу железными дубинками в мостовую, на огоньки сигар, на разговоры мелькающих мимо матросов и других ночных гуляк. Из освещенных окон тоже слышится говор и смех или прыгающие звуки шарманок с позвонками... Но дом подворья тих и темен.

Привратник, спящий в прохладных сенях, за тяжелыми полукруглыми дверями, не спеша отворяет — и, вместе с темнотою, меня

охватывает запах плесени, сырости.

Тот же запах и в гулких каменных коридорах, по которым, со свечой в руке, бежит впереди меня молодой монах в мужицких сапогах, в черном подряснике и черной вязаной шапке, рябой, с бирюзовыми живыми глазами, с торопливо-услужливыми движениями.

В высоком номере, крашенном масляной краской, очень чисто, кровать покрыта грубым, но свежим бельем. Быстро раздеваюсь, тушу свечу и засыпаю среди криков, несущихся с улицы, стука сторожей, говора проходящих под окнами и нескладной, страстно-радостной и в то же время страстно-скорбной восточной музыки, прыгающей в лад с позвонками.

Утром вскакиваю очень рано от свежести, плывущей в окно с моря, от звона колокола в верхнем этаже подворья. И, одеваясь, вижу в окно вымпелá за домами, а внизу — узкую улицу, еще влажную, в прохладной тени, но уже полную деревенскими бараньими шапками погонщиков и целыми стадами ослов, на которых качаются корзины дров, овощей и сыра... Слава богу, день солнечный — я опять

увиджу Ая-Софию в солнечное весеннее утро!

Герасим стоит возле подворья и рассеянно болтает с монахами, поминутно пожимая, по южному обычаю, плечом. Сегодня он в старом картузике с пуговкой, но зонт, который никогда не раскрывается, опять с ним.

Обмениваемся улыбками и пускаемся в путь.

Из окон тянет вонюю оливкового масла, в котором шкварят рыбу, летят на улицу помои и слышится бранчивая скороговорка гречанок. Дурачок в лохмотьях и в двух рваных шляпах, криво надетых одна на другую, со всех ног бросается мимо меня в стаю соловых шелудивых собак и, отбив у них тухлое яйцо, с жадностью выпивает его, дико косясь на проходящих бельмом красного глаза. Сплошная волнующаяся масса черных баранов, мелко перебирающих копытцами, теснится под азартные крики чабана, а среди них, на худенькой лошадке, на деревянном седле, опутанном веревками, пробирается старик-турок, лопоухий, лилово-бурый от загара, в тюрбане и бараньей куртке, с седыми курчавыми волосами на раскрытой груди. За ним бежит

и на бегу орет диким голосом босоногий водонос с мокрым сизым бурдюком на спине. Дальше идут длинноухие, задумчивые ослики под корзинами с мусором и кирпичами, тяжело и быстро семенит носильщик-армянин, согнувшийся в три погибели под огромным зеркальным шкапом, от которого по домам мелькают веселые блики солнца. Ковыляют на французских каблучках две толстенных турчанки, с головой закутанные в фередже цвета засушенной розы.

«Лица их, — думаю я словами Корана, — похожи на яйца страуса, сохраненные в песке».

Но приподнялось как будто случайно покрывало — и я убеждаюсь, что прав Саади:

«Не всякая раковина беременна жемчугом».

Зато сколько красивых, умных и энергичных мужских лиц, особенно среди турок из простонародья, из провинций, с берегов моря! Сколько гордых и приветливых глаз!

Переулки между этими высокими домами возле набережной похожи на переулки в порту Генуи, Марселя. «Сюда, сюда!» — говорит

Герасим, в десятый раз поворачивая за угол. И вот опять пахнуло ванилью, рогожами, арбузной свежестью зелено-голубой воды, — и в глаза глянули ослепительное солнце, голубой простор рейда, крылья белых рыбалок, мачты барок, черные с разноцветными полосами трубы, белая башня Леандра у берегов Скутари... Опять хлопают бичами извозчики, опять в быстро текущей толпе кричат газетчики, водоносы с кувшинами розовых напитков, продавцы бубликов и приторно-сладких греческих печений, насквозь пропитанных ореховым маслом... И не успеваю я сесть на крохотный табуретик возле кофейни, жарко нагретый солнцем, как лиловый арабчонок в одной синей женской рубаше уже тянет мой сапог на скамеечку, расцвеченную фольгой, жемчужинами, медными гвоздиками.

— Рух! — говорю я сердито.

Но в это время надо мной раздается оглушительный бас:

— Газо-ос! — орет он, удаляясь.

И мой сосед справа, миловидный турецкий офицер в малиновой феске, в синем мундире с иголки и с блестящим медным полу-

месяцем на груди, скромно улыбается, а сосед слева, черный старик в белом халате и белой чалме, в больших желто-зеленых очках, без носа, с голой верхней губой в лиловых швах, важно поднимает свою мертвую голову, булькающая кальяном.

И я покоряюсь арабчонку.

В это жаркое солнечное утро все хорошо: и блеск сапога, и новенький мундир офицера, и стакан воды с розой, который быстро ставит передо мною молодой кафеджи.

Потом мы покупаем каких-то желтых сладко-пахучих цветов у ласкового турка, сидящего на корточках возле своей корзины, поставленной прямо на мостовую, и по дрожащим от топота копыт бревнам моста Валидэ спешим в густой толпе в Стамбул.

Уже становится жарко, запылились наши расчищенные сапоги, яркой бирюзой сквозит вода в щели моста, ярко и нежно зеленеют на горе Стамбула сады, с горячим шумом отходят от моста пакеботы, обдавая бегущую толпу теплым белым дымом... Опять маскарад, но еще более пестрый и праздничный, чем вчера! И дружно мешают этот маскарад венские

сюртуки с рыжими верблюжьими куртками, панамы с бараньими папахами, светлоглазого англичанина с сизыми бедуинами, гиганта-черногорца в белом шерстяном наряде, шитом золотом и обремененном оружием, с худосочным польским евреем, коричневую рясу францисканца с негром, сестру-кармелитку с китайцем с неподвижной головой, с черной косой до пят и в лиловой кофте... Все это льется от Султан-Валидэ к самому людному месту Галаты — к углу набережной, к бирже и столикам уличных менял, и от биржи — к Султан-Валидэ, где останавливаются вагоны конки, где вечная теснота фиакров, разносчиков, цветочников, нищих, полуголых прокаженных, сидящих на мостовой, и теснота базаров, заваленных коврами, оружием, медной посудой, сырами, зеленью, шафраном, сбруей, фруктами и туфлями — сотнями связок лиловых, канареечных, черных и оливковых туфель, висящих на стенах подобно сушеной рыбе на шнурках.

Здесь, на маленькой площади, всегда тень и влажная прохлада под стенами мечети, где, у фонтана возле портала, проходящие, сидя

на корточках, торопливо и таинственно совершают омовения среди солово-грязных короткошерстных собак. Дальше, возле кофеен и за старыми стенами, ярко зеленеют деревья. Чем дальше мы поднимаемся по улице, идущей слегка в гору, влево, тем все тише и безлюднее становится вокруг. И уже совершенное безлюдье царит у высоких ворот Старого Серая, при входе в его запущенные сады и широкие дворы, заросшие травой и белеющие обломками греческих колонн, статуй и надгробных плит.

Герасим косится и мистически шепчет:

— Смотри, смотри, с крестом!

За внутренними стенами Серая, охраняющими покои, недоступные для европейца, расцветают под надзором евнухов те редкие цветы девичьей красоты, которые ежегодно дарит, по древнему обычаю, Турция своему повелителю. И весенней прелестью веет незримое присутствие этих юных затворниц в садах Серая, где зеленая трава пробивается из древней земли, красный мак светит среди обломков мрамора и белым и розовым цветом цветут чащи деревьев в оврагах возле

Старого Музея, облицованного лазурными фаянсами, пригретого жарким солнцем под бальзамически благоухающими кипарисами. В мире, в котором я существую, нынче весеннее утро, здесь тишина, узорчатые тени, пение птиц и незримое присутствие девушек за стенами мертвых дворцов. Я заглядываю в их ворота, в аллею платанов за воротами, выходя на горячий солнечный свет, на зеленый Двор Янычар. Древний дуплистый Платан Янычар дремлет на припеке возле тысячелетней св. Ирины, давно обветшалой и обращенной в склады старого оружия. Но когда мы выходим мимо Ирины в другие ворота Сераля, к обрыву мыса, нас охватывает свежесть моря — и снега: в блеске солнца, в золотисто-голубой дымке тонет зыбкий простор Пропонтиды, миражем означаются силуэты Принцевых островов и заступивших горизонт Малоазийских гор — там смутно рисуется в небе что-то мертвенное, некое подобие неподвижного облака.

— Олимп! — говорит Герасим.

Я навожу морской бинокль — и различаю блестящие пустыни снежных полей Олимпа,

его теснины, полные утренних фиолетовых теней, и мне кажется, что на меня тянет оттуда зимним холодом.

А когда я оборачиваюсь, я вижу на яркой густой синеве бледно-желтую с красными полосами громаду Ая-Софии: громаду неуклюжую, выходящую из циклопических каменных подпорок и пристроек, над которыми, в каменном кольце окон, царит одно из чудес земли — древне-приземистый, первобытно-простой, огромный и единственный на земле по легкости полушар-купол. И четыре стража этой грубой громады, скрывающей в недрах своих сокровища искусства и роскоши, четыре белых минарета исполинскими копьями возносятся по углам ее в синюю глубину неба.

— Где вход? — говорю я.

Я опять не сразу нашел бы его, но Герасим уже идет в какой-то узенький переулок, где на солнце пахнет сухими нечистотами, потом поворачивает в другой и по отлогому спуску, мощенному камнем, мы подходим к боковому порталу, завешенному тяжелой завесой из буйволовых кож. Дико это, первобытно, но

как хорошо! Нравится мне и обычай надевать, входя, туфли: так когда-то у входа в святилище оставляли пыльные сандалии...

Сумрак, холод и величавая громадность капища охватывают меня в тройном портале. А когда я вступаю в храм, пигмеями кажутся среди его необъятного простора и необъятной высоты фигурки молящихся — сидящих на огромной площади ухабистого от землетрясений мраморного пола, сплошь покрытого золотистыми скользкими циновками из тростника. Шестьдесят окон пробили купол, и никогда мне не забыть радостного солнечного света, который столпами озаряет из этой опрокинутой чаши всю середину храма! И светлая, безмятежная тишина, чуждая всему миру, царит кругом, тишина, нарушаемая только плеском и свистом голубиных крыльев в куполе, да певучими, печально-задумчивыми возгласами молящихся, гулко и музыкально замирающими среди высоты и простора, среди древних стен, в которых немало скрыто пустых амфор-голосников. Первобытны эти милые голуби, их известковый помет, падающий с высоты на циновки. Первобыт-

но-просты огромные железные люстры, низко висящие над циновками на железных цепях. Величава и сумрачна окраска исполинских стен, шершаво полинявшее золото сводов. Капищем веет от колонн, мутно-красных, мутно-малахитовых и голубовато-желтых. Таинственностью капища исполнены и призраки мертвых византийских мозаик, просвечивающих сквозь белила, которыми покрыли их турки. Жутки чуть видные лики апокалиптических шестикрылых серафимов в углах боковых сводов. Строги фигуры святых в выгибах алтарной стены. И почти страшен возвышающийся среди них образ Спасителя, этот тысячелетний хозяин храма, по преданию, ежегодно проступающий сквозь ежегодную закраску...

Чувствуя и себя пигмеем, тихо брожу я среди этой высоты и простора. Надо мной — светонесный купол, горячее солнце золотистым потоком льется на меня сверху. А налево и направо — два яруса хор. По отлогим каменным всходам туда могли въезжать из пропилей две колесницы. Две колесницы могли разъехаться и на тяжких хорах, мраморные

плиты которых покосились от землетрясений. И как легко держат эту тяжесть два яруса аркад и колонн!

Не знаю путешественника, не укорившего турок за то, что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик. Но турецкая простота, нагота Софии возвращает меня к началу Ислама, рожденного в пустыне. И с первобытной простотой, босыми входят сюда молящиеся, — входят когда кому вздумается, ибо всегда и для всех открыты двери мечети. С древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом и с поднятыми открытыми ладонями обращают они свои мольбы к Богу в этом светлом и тихом храме:

Во имя Бога, милосердного и милостивого!

Хвала ему, властителю вселенной!

Владыке Дня Суда и Воздаяния!

Но велик и непостижим Владыка — и вот покорно падают руки вдоль тела, а голова на грудь. И еще покорнее отдаются эти руки в

узы его, соединяясь после падения под грудью, и быстро и бесшумно начинает вслед за этим падать человек на колени и касаться челом праха. И тайные мольбы и славословия падающего ниц человека со всех концов мира несутся всегда к единому месту: к святому городу, к ветхозаветному камню в пустыне Измаила и Агари...

Медленно подвигаемся мы в боковых проходах за колоннами, шмыгая туфлями по скользким циновкам. Потом шмыгаем по еще более скользкому мрамору пропилей, где девять огромных и тяжелых бронзовых дверей — все в один ряд еще хранят рельефы византийских крестов. Потом поднимаемся по широким отлогим всходам на хоры, и с высоты я еще раз наслаждаюсь головокружительной бездной этого капища и маленькими фигурками сидящих глубоко подо мною, на полу, в широком столпе света, падающего из купола. А из древней амбразуры открытого окна снова тянет на меня теплом солнечного света и свежестью снега. Я подхожу — и ласковый ветер ударяет мне в лицо, розовая голубка срысывается с подоконника в простор весеннего

воздуха... И опять разворачивается предомною зыбкая синева Мраморного моря, блеск солнца, лилово-пепельные силуэты горных вершин и мертвенно-белое облако Малоазийского Олимпа...

V

На мраморной паперти Софии, когда мы покидаем ее, лежит деревенский нищий в лохмотьях овчины, темный, как мумия, с большими оттопыренными ушами и потухшими глазами.

— Бакшиш! — жалобно говорит он старческим отдаленным голосом, и правая рука его несмело касается сердца, губ и лба.

Но в его левой руке деревянная мисочка с вареным рисом — и просьба о милостыне звучит безжизненно: Бог уже послал ему дневное пропитание, в остальном он не нуждается.

Со двора выходим на Атмейдан, славный когда-то по всему миру Ипподром Византии. Слева Атмейдан замыкается одной из великолепнейших султанских мечетей — колоссальной белой мечетью Ахмедие, окруженной платанами и шестью исполинскими минаре-

тами. Но, боже, чем замыкается площадь с других сторон!

Ветхие бревенчатые хибарки под черепицей, старозаветные кофейни, полузасохшие акации. Ипподром теперь пуст и пылен, и печально стоят на нем в ямах, обнесенных решетками, три памятника великой древности: обелиск розового гранита, когда-то стороживший вход в храм Солнца в Гелиополе, грубая каменная колонна Константина Багрянородного и бронзовая, позеленевшая Змеиная колонна — три перевившихся и вставших на хвосты змеи: «слава Дельфийского капища».

Большая улица Стамбула, по которой мы возвращаемся в Галату, вид имеет милый, южный: много солнца, акаций, турецких таверн, где всегда так весело от чистоты мраморных столиков, цветов на них и приветливости хозяина в белом фартуке и феске... Весел даже надгробный павильон султана Махмута большой киоск под вековыми деревьями, за высокой решеткой, отделяющей его от тротуара.

— Султану везде хорошо! — улыбается и вздыхает Герасим.

Густая толпа в перепутанных вонючих переулочках, в которые мы вступаем затем, кажется еще пестрее и крикливей от зноя и духоты. Хорошо еще, что на пути Голубиная мечеть Баязета и крытые ряды Чарши, Большого базара!

Двор мечети пленителен своей патриархальностью. Ограждает его сквозная мавританская аркада, посреди его — фонтан, платаны, отдыхающие странники, нищие, тысячи голубей, а кругом — целый базар четок, которыми, сидя на коврах, торгуют старые-престарые обезьяны в тюрбанах. Прохожие покупают тут и пшено, кидают его в воздух — и тогда весь двор превращается на минуту в живой, свистящий, дрожащий несметными крыльями, дети начинают прыгать и на все лады вопить:

— Бакшиш! Бакшиш!

В полутемном крытом лабиринте Чарши тоже вопят — по-турецки, по-армянски, по-гречески, по-французски — и хватают за руки, завлекая в лавки; но отрадная прохлада спокон веку царит в этих сводчатых коридорах, пряно пахучих и вместивших в себя, ка-

жется, все, что есть на базарах Востока.

Все же шумней и пестрей Галаты нет ничего на свете!

Улица, ведущая в гору, к Пере, полита, но политая и уже согревшаяся пыль только увеличивает духоту. Яркие белые маркизы над окнами магазинов, яркие красные лоскуты — вывески с полумесяцем и арабскими письменами... И ослепительно ярка синяя лента неба над толпой и коридором домов... Во имя Бога милостивого, хоть бы здесь-то, по улице, ведущей в европейскую Перу, не пускали верблюдов! Но нет, араб-полицейский, в коротком синем мундире и в феске, совершенно равнодушно смотрит на эту горбатую грудку, шагающую среди толпы за босоногим проводником.

Зато как прохладно в жерле башни Христа!

Сладок среди вони и плесени базарных улиц, среди чада простонародных таверн и пекарен, свежий запах овощей и лимонов, но еще слаще после галатской духоты чистый морской воздух. Медленно поднимаемся мы по темным лестницам возле стен башни, достигаем ее круглой вышки — и выходим на

каменный покатый балкон, кольцом охватывающий вышку и огражденный железными перилами. Легкое головокружение туманит меня при взгляде в бездну подо мною, раскрывается в ней целая необозримая страна, занятая городами, морями и таинственными хребтами Малоазийских гор — страна, на которую пала «тьень Птицы Хумай».

Кто знает, что такое птица Хумай? О ней говорит Саади:

«Нет жаждущих приюта под тенью совы, хотя бы птица Хумай и не существовала на свете!»

И комментаторы Саади поясняют, что это — легендарная птица и что тень ее приносит всему, на что она падает, царственность и бессмертие.

Песнью Песней, чудом чудес, столицей земли называли город Константина греческие летописцы. Молва всего мира объясняла его происхождение Божественным вмешательством. Одна легенда говорит, что на месте Византии орел Зевса уронил сердце жертвенного быка. Другая — что основателю ее было повелено основать город знамением

креста, явившимся в облаках над скутарийскими холмами, «при слиянии водных путей и путей караванных». Но восточный поэт сказал не хуже: «Здесь пала тень Птицы Хумай».

В двух шагах от меня, возле этой башни, еще и доныне совершаются мучительно-сладостные мистерии Кружащихся Дервишей.

Их монастырь затерялся теперь среди высоких европейских домов. Несколько лет тому назад, в один из таких же жарких весенних дней, Герасим привел меня к его старой каменной ограде, и мы вошли, вместе с другими «франками», в небольшой каменный двор.

Помню фонтан и старое зеленое дерево посреди его, направо — гробницы шейхов-настоятелей, налево — кельи в ветхом деревянном доме под черепицей, а против входа — деревянную мечеть.

Мы отдали несколько мелких монет, и нас пустили в восьмигранный высокий зал, обведенный с трех сторон хорами и украшенный только сурами Корана.

На хорах, над входом, поместились музыканты с длинными флейтами и барабанами, по бокам — зрители.

Когда наступила тишина, вошел шейх-настоятель, а за ним десятка два дервишей — все босые, в коричневых мантиях, в войлочных черепенниках, с опущенными ресницами, с руками, смиренно сложенными на груди.

Шейх сел у стены против входа, разделившиеся дервиши — по сторонам, друг против друга.

Шейх, медленно повышая жалобный, строгий и печальный голос, начал молитву, флейты внезапно подхватили ее на верхней страстной ноте — и в тот же миг, столь же внезапно и страстно, дервиши ударили ладонями в пол с криком во славу Бога, откинулись назад — и снова ударили.

И вдруг все замерли, встали — и, сложив на груди руки, двинулись гуськом за шейхом вокруг зала, обертываясь и низко кланяясь друг другу возле его места.

Кончив же поклоны, быстро скинули мантии, остались в белых юбках и белых кофтах с длинными широкими рукавами — и закружились в танце: взвизгнула флейта, бухнул барабан — и дервиши стали подбегать с поклоном к шейху, как мяч, отпрыдывать от

него и, раскинув руки, волчком пускаться по залу.

И скоро весь зал наполнился белыми вихрями с раскинутыми руками и раздувшимися в колокол юбками.

И по мере того как все выше и выше поднимались голоса флейт, жалобная печаль которых уже перешла в упоение этой печалью, все быстрее неслись по залу белые кресты-вихри, все бледнее становились лица, склонявшиеся набок, все туже надувались юбки и все крепче топал ногою шейх: приближалось страшное и сладчайшее «исчезновение в Боге и вечности»...

Теперь, на башне Христа, я переживаю нечто подобное тому, что пережил у дервишей. Теплый, сильный ветер гудит за мною в вышке, пространство точно плывет под мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность... Этот вихрь вокруг шейха зародился там, в этой дали: в мистериях индусов, в таинствах огнепоклонников, в «расплавке» и «опьянении» суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем разумелось упоение божеством. И опять мне вспо-

минаются слова Саади, «употребившего жизнь свою на то, чтобы обозреть Красоту Мира»:

«Ты, который некогда пройдешь по могиле поэта, вспомяни поэта добрым словом!

— Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету, как ветер, который, после смерти поэта, разнес по вселенной благоухание цветника его сердца.

— Ибо он всходил на башни Маана, Созерцания, и слышал Симаа, Музыку Мира, влекшую в халет, веселие.

— Целый мир полон этим веселием, танцем — ужели одни мы не чувствуем его вина?

— Хмельной верблюд легче несет свой вьюк. Он, при звуках арабской песни, приходит в восторг. Как же назвать человека, не чувствующего этого восторга?

— Он осел, сухое полено».

Комментарии

В Полном собрании сочинений 1915 г. рассказы печатались под заглавием «Храм Солнца». В 1917 г. изданы, вместе со стихами на темы Востока, под этим же названием, а в 1931 г. в Париже — отдельной книгой, озаглавленной «Тень Птицы», в которую вошел также рассказ о древней столице Цейлона, Анарадхапуре, «Город Царя Царей». В первом томе Собрания сочинений (1936) Бунин восстановил прежнее название, «Храм Солнца», но, готовя том для нового издания в июле 1953 года, зачеркнул это заглавие и написал: «Тень Птицы».

Это — цикл рассказов о путешествии по странам Востока. Они своеобразны по жанру, сочетают в себе дневниковые записи — описания городов, древних развалин, памятников искусства, пирамид, гробниц — и легенды древних народов, экскурсии в историю их культуры, в историю расцвета и гибели царств. Не ускользает от внимания Бунина и то, что «нищета разрушает кварталы Скутари, Стамбула, Галаты, Фанара и превращает

их в вертепы и трупщобы».

Бунин писал: «„Страсть к обозрению мира“, говоря словами Саади, всегда была и есть у меня в очень большой, даже редкой мере».

Он не только изъездил Россию и Европу, но странствовал по Африке, в Палестину, на Цейлон. В Константинополе побывал тринадцать раз! В письме к издателю Боссару 21 июня 1921 г. он говорит о своих путешествиях: «...меня занимали вопросы философские, религиозные, нравственные, исторические». Книгу о своих странствиях Бунин хотел назвать «Поля мертвых».

Поэтесса Г. Н. Кузнецова пишет о своей беседе с Буниным в ноябре 1932 г.: «Как странно, что, путешествуя, вы выбирали все места дикие, окраины мира, — сказала я.

— Да, вот дикие! Заметь, что меня влекли все Некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать!».

Это влечение ко всем Некрополям мира — от «жажды жить <...> не только своим настоящим, но и <...> тысячами чужих жизней, — говорил Бунин, — современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со

всеми странами его».

Оттого все его «самые заветные странствия — там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей», — Стамбул, Египет, Палестина, все то, о чем он повествует в «Тени Птицы». Потом будет Цейлон — и «Братья». Он также скажет о себе:

«Жизнь моя — трепетное и радостное участие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною».

Стремление — раствориться в неизведанном в путешествии, «с наслаждением» затеряться в толпе древнего города, «в той возбуждающей атмосфере толпы, которая охватывает душу и тело горячим веянием жизни и тянет к слиянию с жизнью всего мира». И текут «все новые и новые толпы, полные страстного и волнующего зноя жизни. И когда в этот зной врывается свежее дыхание ночи и моря, я пьянею от сладкого сознания, что и я в этом новом Содоме и свободен...».

В этом приобщении к неизведанному пре-

красному — путь к обновлению себя и к обновлению жизни, — по Достоевскому: красота спасет мир. Приобретенный опыт убеждал: «Всякое путешествие очень меняет человека». Приходило сознание преемственности бытия, и укреплялась мысль, что не может погибнуть что-то «непостижимо божественное в человеке», — то, что и есть жизнь.

Идея бессмертия проникает рассказы «Тень Птицы» и придает им универсальный смысл. Бунин «верил в бессмертие сознания, но не своего я», — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, говоря о своей беседе с ним 9 февраля 1923 года.

В «Тени Птицы» в высочайшей художественной форме выразилась та особенность русской литературы, о которой говорил Достоевский, — явленная миру столь удивительно в Пушкине, — это «способность всемирности, всечеловечности, всеотклика».

Бунин писал: «Я ведь чуть где побывал, нюхнул — сейчас дух страны, народа почуял». Рассказы «Тень Птицы» написаны так, как бы он сам был, говоря словами Достоевского, «гражданин древнего мира».

В этих рассказах не только чувство истории и беспримерная зоркость художника, обзирающего все «царства и славу их», но и великий дар постижения прошлого. В этом ему близок Толстой не только как исторический романист, но и как глубокий мыслитель с его постоянным интересом к Востоку, к воззрениям древних учителей жизни и философов — Индии, Китая, Японии. Именно у Толстого, как сказал Бунин, «обостренное ощущение Всебытия».

Сам Бунин связывал идеи, которыми он проникся в путешествиях, с его пониманием Толстого: «Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал».

А писал он о людях, обладающих способностью особенно сильно чувствовать время чужое, прошлое и чужие страны, — это «поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон,

Толстой <...> Все они <...> отличаются всё возрастающим с годами чувством Всебытия...». Почувать «темный след//Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве», — как говорит Бунин в стихотворении «В горах», — значит в некоей мере ощутить Всебытие.

Об изображении Востока у Бунина писал Ю. Айхенвальд: «Его пленяет Восток, «светоносные страны», про которые он с необычайной красотой лирического слова вспоминает теперь <...> Для Востока, библейского и современного, умеет Бунин находить соответственный стиль, торжественный и порою как бы залитый знойными волнами солнца, украшенный драгоценными инкрустациями и арабесками образности; и когда речь идет при этом о седой старине, теряющейся в дальях религии и мифологии, то испытываешь такое впечатление, словно движется перед нами какая-то величавая колесница человечества».

Рассказ «Тень птицы» был впервые напечатан в альманахе «Земля», сб. 1, М., 1908.

Рассказ написан, как говорит В. Н. Муром-

цева-Бунина, «После нашего первого путешествия на Ближний Восток в 1907 г., но там все из впечатлений его пребывания в Константинополе в 1903 году, в ту „незабвенную весну“».

В письме брату Юлию Алексеевичу 12 апреля 1903 г. Бунин сообщал, что отправился он в путешествие на пароходе «Нахимов» из Одессы 9 апреля. В пути — «чувство одиночества, пустынности и отдаленности от всех близких». При приближении к Босфору «открыл глаза — взглянул в окно — и вздрогнул от радости: налево, очень близко, гористые берега <...> Солнце стало пригревать, и мы медленно стали входить в Босфор». 13 апреля Бунин продолжил письмо: «Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где, почти у воды, маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи. Когда пароход, следуя изгибам пролива, раза два повернул, было похоже на то, что мы плывем по озерам. Похоже на Швейцарию... Босфор поразил меня красо-

той. Константинополь. Часов в десять мы стали на якорь, и я отправился с монахом и греком Герасимом в Андреевское подворье... В подворье занял большую комнату. Полежав, отправился на Галатскую башню». Это типично для Бунина: путешествуя, в незнакомом городе он обычно поднимался на самую высокую точку, чтобы осмотреть все в целом.

«Кроме обычных мест, посещаемых туристами, [проводник] Герасим водил его в частные дома <...> Византия мало тронула в те дни Бунина, он не почувствовал ее, зато ислам вошел глубоко в его душу <...> Он взял с собою книгу персидского поэта Саади „Тезкират“, он всегда, когда отправлялся на Восток, возил ее с собой». «Он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и ему хотелось непременно побывать в городе, завоеванном магометанами, полном исторических воспоминаний, сыгравшем такую роль в православной России, особенно в Московском царстве».

В. Н. Муромцева-Бунина, совершившая вместе с Буниным путешествие на Восток в 1907 г., вспоминает: «Ян называет мне двор-

цы, мимо которых мы проходим, сады, посольство, кладбище... Он знает Константинополь не хуже Москвы <...>

Ян говорит о ветхости и запустении этого, по его словам, самого лучшего города в мире. Сообщает мне разные исторические сведения, упоминает о прежних великих султанах».

Взяв комнаты в Афонском подворье, — продолжает Вера Николаевна, — «спешим по темному коридору, освещенному тусклой лампочкой, обратно в город. Спускаемся к Золотому Рогу, к мосту Валидэ. Темнеет. Стамбул силуэтом вырисовывается на зеленоватом небе. Скутари зажигается огнями...

Из шумной и освещенной Галаты мы попадаем через мост Валидэ, за проход по которому берут какую-то мелкую монету, в тихий и темный Стамбул.

Да, здесь смесь Византии и Востока».

Примечания

«Взоры куда ни направь, повсюду лишь море
и небо». Овидий. Скорби, кн. 1, элегия 2, стих
23.

[^^^]

Айя-София, храм святой Софии, превращенный турками, завоевавшими Константинополь в XV веке, в мечеть.

[^^^]